

Ген. Трашкевич 2

АДСКОЕ
ПЛАМЯ

Сид
ки

ИЗДАТЕЛЬСТВО СВЯТЫН И СЫНОВЬЯ

ОБЩЕДОСТУПНАЯ БИБЛИОТЕЧКА

Геннадий Прашкевич

Адское пламя

«Автор»

Прашкевич Г. М.

Адское пламя / Г. М. Прашкевич — «Автор»,

Фантастика – удивительный литературный жанр. Описывая события, в настоящее время невозможные, она умудряется, тем не менее, непонятным образом соответствовать своим содержанием запросам «текущего момента». Поэтому размышления автора о том, как могла бы выглядеть антология советской фантастики, есть размышления и о советской истории вообще. Что же было самым важным в этой истории в то или иное десятилетие? И вот тут-то возникают вопросы... Сам Геннадий Прашкевич – не последний человек, как в советской, так и в современной фантастике. Он лауреат (иногда неоднократный) всех возможных премий, существующих в мире российского «фэндома», а со многими персонажами своей книги знаком (с некоторыми, к сожалению, был знаком) лично.

© Прашкевич Г. М.

© Автор

Содержание

ГИБЕЛЬ ШАХМАТ	5
I	6
II	14
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Геннадий Прашкевич

Адское пламя

Комментарий к неизданной Антологии

Памяти Виталия Бугрова

ГИБЕЛЬ ШАХМАТ

А. Чаянов. *Венедиктов, или Достопамятные события жизни моей*. Повесть, М. 1921.

Вивиан Итин. *Страна Гонгури*. Повесть, Канск, 1922.

Ефим Зозуля. *Граммофон веков*. Рассказ, М., 1923.

Алексей Толстой. *Аэлита*. Роман, М.-Пг., 1923.

Яков Окунев. *Грядущий мир*. Роман, Пг., 1923.

Александр Грин. *Блестящий мир*. Роман, М., 1923.

Сергей Буданцев. *Эскадрилья Всемирной Коммуны*. Повесть, М., 1925.

Владимир Обручев. *Земля Санникова*. Роман, М., 1926.

Александр Абрамов. *Гибель шахмат*. Повесть, М., 1926.

Лев Гумилевский. *Страна гипербореев*. Рассказ, М.-Л., 1925.

Владимир Орловский (Грушевицкий). *Бунт атомов*. Роман, Л., 1928.

Владимир Эфф. *По ту сторону*. Роман, М., 1928.

Абрам Палей. *Гольфитрем*. Повесть, М., 1928.

Сергей Беляев. *Радио-мозг*. Роман, М.-Л., 1928.

Андрей Зарин. *Приключение*. Рассказ, Л., 1929.

Александр Беляев. *Властелин мира*. Роман, Л., 1929.

Бруно Ясенский. *Я жгу Париж*. Роман, М., 1929.

Наталья Бромлей. *Потомок Гаргантюа*. Повесть, М., 1930.

Михаил Булгаков. *Собачье сердце*. Повесть (любое издание).

Евгений Замятин. *Мы*. Роман (любое издание).

Андрей Платонов. *Эфирный тракт*. Повесть (любое издание).

Валерий Язвицкий. *Аппарат Джона Инглиса*. Рассказ, М., 1930.

Григорий Адамов. *Тайна двух океанов*. Роман, М.-Л., 1939.

Николай Шпанов. *Первый удар*. Повесть, М., 1939.

I

Это не все.

Список можно продолжить.

Не думаю, что всем лучшим в себе я обязан книге.

Правда, всему худшему в себе я обязан тоже не ей.

В конце концов, пришел я с годами к выводу, в книжке, в самой дерьмовой, как бы она ни выглядела, какую бы чушь ни нес ее автор, почти всегда можно отыскать нечто самоценное, никак от воли автора не зависящее – *игра случая*, как говорят моряки, *воздействие непреодолимых сил, воля Бога*. Скажем, читая романы Владимира Немцова, а мне в свое время пришлось их много читать (*такова была структура текущего момента*), невозможно было не задуматься над действиями любимых героев русского советского фантаста – молодых инженеров Багрецова и Бабкина: ну почему, ну почему в самом деле, они столь ленивы и нелюбопытны? Не по причине же, вычисленной Александром Сергеевичем. Не так уж много прошло лет с тех пор... ну, скажем, полвека... когда я листал тучные, как сказочная колхозная жизнь, романы В. Немцова... но что осталось в памяти?...

Впрочем, сегодня Владимира Немцова мудро перечитать.

Не видно его книг, а когда-то их было – Монбланы. Наверное, сохранились в старых библиотеках, но туда ведь не пойдешь ради Немцова, это все равно что пойти в библиотеку за «Секретными материалами». А на развале – С. Кинг, Р. Муркок, Г. Гаррисон, Г. Борн, вон уже и Чак Поланик появился, и вдохновенные, деятели киберпанка. Обойди хоть все лотки, книг Владимира Немцова нигде не видно, а в моем детстве они, эти мощные, просторно изданные тома лежали на прилавке каждого КОГИЗа, заполняли витрины каждого газетного киоска, и цена их при этом оставалась вполне умеренной. Страниц семьсот-восемьсот шли рублей за двадцать, ну двадцать пять, тех еще – дохрущевских... То есть, двадцать, ну двадцать пять сталинских рублей и за «Счастливую звезду», и за «Последний полустанок», и за «Семь цветов радуги», и за «Избранное», и за «Научно-фантастические повести».

Названия последних двух книг мне и сейчас по душе. Без всякой вычурности, без претензий, без бросающейся в глаза изощренности. Не так, как у этих там Герберта Уэллса, Станислава Лема или братьев Стругацких! Сами сравните. С одной стороны скромное – «Избранное», с другой – вычурное «Рассказы о пространстве и времени». С одной стороны негромкое и жизнеутверждающее – «Научно-фантастические повести», с другой – «За миллиард лет до конца света», а то еще лучше – «О том, как Трурль женотрон применил, желая королевича Пантарктика от томления любовного избавить, и как потом к детомету прибегнуть пришлось».

Сразу видно, кто думает о читателе, а кому на читателя наплевать.

«В это лето ни один межпланетный корабль не покидал Землю. По железным дорогам страны еще ходили обыкновенные поезда без атомных котлов. Арктика оставалась холодной. Человек еще не научился управлять погодой, добывать хлеб из воздуха и жить до трехсот лет. Марсиане не прилетали. Запись экскурсантов на Луну не объявлялась...»

И так далее.

Все правильно.

Все полностью отвечало структуре текущего момента.

Готов утверждать: из русских советских фантастов именно Владимир Немцов отличался какой-то особенно суровой правдивостью. В годы моего детства, проведенного на небольшой железнодорожной станции с прекрасным названием Тайга, действительно никто не мечтал о хлебе из воздуха и даже не могу припомнить, чтобы кто-нибудь там пытался дожить до трех-

сот лет. Ну, выпивали, это само собой. И очереди в пустых магазинах были, и жилищная проблема. Какие там к черту экскурсии на Луну! На железнодорожных путях шипели, заволакивая белый свет паром, обыкновенные чумазы паровозы, перед рабочим клубом имени Ленина толклись желающие посмотреть «картину». Почти все «картины», кстати, были фантастическими – нищая страна пела, цвела и плясала («Кубанские казаки»), на дне моря, обливаемый странными красными вспышками, трещал метроном, похожий на будильник «Слава» («Тайна вечной ночи»). Опасно смотреть такие «картины», если постоянно хочешь есть, даже на самых интересных уроках все время хочешь есть, а в бок тебе упирается острый локоть прекрасной, но такой же голодной одноклассницы.

Прав был Владимир Немцов: ни хрена в таком мире не могло происходить!

Да, конечно, лучшим в себе я обязан не книгам, зато Владимир Немцов упорно учил меня тому, что настоящий герой фантастики всегда и беспрекословно, ни на секунду не задумываясь, должен выполнять задания Партии и Правительства. Причем сперва именно Партии, а потом уже Правительства. Того самого, работать в котором может даже простая кухарка. За любимчиками Владимира Немцова – молодыми инженерами Бабкиным и Багрецовым, несмотря на их молодость, стояли именно Партия и Правительство. Как всякие настоящие крепкие извращенцы, Бабкин и Багрецов шли на подвиг уже потому, что в конце подвига их ждала или героическая смерть или необыкновенно сладостная возможность отрапортовать с мавзолея о совершенном для Партии и Правительства подвиге.

«Я столько поездил, – писал Владимир Немцов, – столько повидал неожиданного, столько встретил интересных людей, преданных нашей великой идее и самозабвенно работающих на нее, что, казалось бы, далекая мечта о коммунизме для меня становится осязаемой, ближайшей явью».

Вообще-то, задним числом прозреваю я, ковчег был тесен и чистые пары, сплотившись, сперва потихоньку, а потом без всяких там стеснений старались вытеснить нечистые. Фантастика для этого годилась. Далеко не последний жанр. Пусть Хозяин его не любил, но почему, собственно, советскому фантасту не отрапортовать Партии и Правительству о каком-нибудь совсем уж особенном подвиге? Чем он хуже какого-то там поэта?

Правда, тогда еще далеко не каждый фантаст помнил о трех уровнях.

Первый уровень, известно, это когда ты пишешь, но сам видишь, что пишешь полную лажу. Все поверхностное, оно, в общем, всегда отчасти справедливо, но все равно несправедливо писать полную лажу, к тому же поверхностную. Уровень второй, это когда до тебя, наконец, доходит – каким бы ни был твой герой, действовать он может лишь тогда, когда его прижали обстоятельства или, в крайнем случае, у него жмет башмак. Ну, а отсюда выход на третий, высший, уровень – на ощущение безмерности такого, казалось бы, мелкого и лукавого существа, как человек. Ну и так далее, как любил говорить Велимир Хлебников, внезапно обрывая чтение стихов.

Герои Владимира Немцова всегда носили башмаки, подобранные точно по размеру.

А кто, собственно, увлекательней – Владимир Немцов или Э. Берроуз? А что важней и полезнее – приключения Тарзана или приключения молодых инженеров Багрецова и Бабкина? Что вообще происходит с фантастическими произведениями по прошествии ста, скажем, лет? Становятся они вдруг бестселлерами, как извлеченный из сейфа в конце XX века роман Жюль Верна под названием «Париж в XX веке», или отдают пылью и затхлостью, как безвременно, еще при жизни авторов умершие опусы Каллистрата Жакова или, скажем, некоей мадам Желиховской?

Лет десять назад замечательный советский фантаст Николай Гацунаев («Звездный скиталец») и я («Разворованное чудо»), мы брели по безумно жаркому, опаленному солнцем Таш-

кенту, смутно, как смертники, обсуждая все эти вовсе не второстепенные для нас вопросы. В романах мадам Желиховской головы умели приклеивать, у нее мертвых воскрешали, напоминал я. А у Жюль Верна темной ночью некий сентиментальный Мишель проливал горючие слезы на могилах Ларошфуко и Шопена, напоминал Гацунаев. Как-то так выходило, что мы с Гацунаевым – противники всяких крайностей. Как-то так выходило, что мы с ним весьма широки душой и некая, присущая фантастике наивность нас только радует. Правда, не желая сдаваться нахлынувшим чувствам, я процитировал неистового Сергея Третьякова: «*Чистое искусство умерло, ибо нет досугов, которые надо им заполнять, уводя психику в мир творчества*», а Гацунаев, тоже не желая сдаваться, процитировал Льва Троцкого: «*Искусство пейзажа не могло бы родиться в Сахаре*».

Опровергнув мнение Сергея Третьякова (не умерло, не умерло чистое искусство, полно у людей досуга, который нечем заполнять!), мы опровергли и мнение Льва Давидовича Троцкого (искусство пейзажа могло родиться даже в голове человека, с младенчества запертого в темницу и никогда из темницы на волю не выглядывающего: подумайте об этом неистовом разгуле разводов плесени на сырых стенах, или о морозных росписях на окне). И после этого, уже без всяких колебаний мы глянули друг на друга: а почему не напомнить людям, имеющим некоторый досуг, о том, что чистое искусство действительно еще не умерло?

Пусть цветут сто цветов!

Антология!

Вот чего не хватает нашей застойной, правда, уже какими-то странными сквознячками колеблемой жизни, поняли мы, – настоящей большой *Антологии русской советской фантастики*, отразившей бы все ее взлеты и падения, начиная с 1917-го и кончая 1957-ым годом. Создать такую Антологию, чтобы она, как ковчег, дала бы место всем чистым и нечистым тварям, вместила бы в себя все вывихи и достижения советской фантастики, сконцентрировавшей в себе как искусство пейзажа, искусно созданного в наглухо закрытой стране, так и веяние того действительно чистого искусства, которое невозможно уничтожить даже в пределах самого богатого, самого самоотверженного колхоза.

– Листов на пятьдесят, – глянул я на Гацунаева.

– Листов на сто, – поправил меня сдержанный Гацунаев.

– Все равно мало, – одновременно и оба решили мы. – Сто пятьдесят!

Мы тогда даже близко не представляли себе истинный объем такой Антологии.

Зато нам казалось, что Гацунаев знает, *где* такую Антологию можно издать, а я знаю – *у кого* можно найти ушедшие в прошлое книги.

Что-то из Александра Кабакова: Стикс легче всего форсировать на ИЛ-62.

Момент внезапного озарения показался нам столь значительным, что Гацунаев остановился и спросил:

– Сколько у нас времени?

Наверное, он хотел запомнить выжженный Ташкент, безумное послеполуденное небо Ташкента – великий миг, одаривший нас столь замечательной идеей. Вполне понимая эти чувства, я неторопливо глянул на свои отечественные электронные, недавно на день рожденья подаренные мне часы, и с некоторой, необходимой моменту торжественностью, ответил:

– Пятьдесят семь часов девяносто четыре минуты.

Вот сколько времени у нас было в тот момент!

Правда, оставался еще вопрос – что, собственно, считать фантастикой?

Например, по ограждению стадиона, мимо которого мы шли, тянулся невероятно длинный кумач с начертанными по нему белыми торжественными буквами: «*Великая отечественная война 1941–1944 годов*».

– Правильно я читаю?

Сдержанный Гацунаев кивнул:

– Да. Совершенно правильно.

Он уже тогда мало чему удивлялся.

Он родился в Хиве в 1933 году, в больнице, построенной в конце прошлого века по указанию и на средства Ислама Ходжи – визиря предпоследнего хивинского хана Исфандияра. На рассвете азан (призыв к утренней молитве) мешался со звуками «Интернационала». Под куполами Сарай Базар Дарбазы кипел чудовищный котел страстей, подогреваемый узбекской, каракалпакской, корейской, русской, туркменской, татарской, даже гуцульской речью. Первое слово, произнесенное Гацунаевым, было *soat* (часы), и о чем бы впоследствии он ни писал, всегда тянулись перед ним необъятная, подернутая дымкой, как время, коричневая ширь Амударьи, бесконечные караваны барж, дощатые причалы давно несуществующих пристаней Кипчак и Чалыш, невероятная синева неба, бессмысленные лунные пейзажи Джимур-тау, древние как мир, и звучные, как музыка, речные городища Бургут-кала, Пиль-кала, Кыркыз-кала, Койкырылган-кала. В лучших своих вещах («Западня», «Звездный скиталец») Гацунаев никогда не уходил за песчаные берега столь любимого им Аральского моря.

Может, гибель моря и сделала его фантастом.

Разглядывая кумач с таинственными письменами, я невольно вспомнил знаменитую повесть Н. Шпанова «Первый удар». Там наши пилоты побеждали фашистскую Германию даже не за три-четыре года, а за считанные часы. А на земле их, естественно, поддерживали мужественные спартаковцы.

Пятьдесят семь часов девяносто четыре минуты.

Душный Ташкент.

Еще одна Атлантида, затонувшая на наших глазах.

Вот уж поистине: ищи место, где происходят странные вещи.

Мир невозможен без прошлого, он стоит на прошлом. Мир невозможен без книг, написанных в прошлом. Будущее невозможно без таких книг, потому что они все равно существуют.

Правда, сами писатели относятся друг к другу без трепета.

Эмиль Золя в «Парижских письмах» (1878) горячо доказывал:

«Жюль Верн – писатель остроумный, с большим успехом популяризирующий науку для невежд, драматизируя ее, в маленьких романах. Он не пишет, собственно говоря, романов, он драматизирует науку, он пускается в фантастические бредни, опираясь на новые научные данные. Я не стану разбирать этого рода произведения, долженствующие, по-моему, исказить все познания детей, но я вынужден засвидетельствовать их невероятный успех. Произведения Жюль Верна, несомненно, все более покупаются во Франции. Впрочем, они не имеют никакого значения в современном литературном движении. Азбуки и требники продаются в таком же неисчислимом количестве».

В этой цитате восхитительна ссылка на азбуки и требники.

Они ведь и в современном литературном движении не имеют никакого значения.

Было время, когда мне казалось, что все фантастические книги написаны Жюлем Верном. Было время, когда мне казалось, что все лучшие книги в этом жанре написаны только

Гербертом Уэллсом и Станиславом Лемом. Немалое число фэнов и сегодня убеждено, что все стоящие внимания сюжеты разработаны только братьями Стругацкими.

Страшный сон: все фантастические книги мира написаны Владимиром Немцовым или Андреем Столяровым.

Разумеется, Антология должна была открываться произведениями, написанными или изданными в 1917 году. Не потому, что до 24 октября все россияне рассуждали вот так-то, а с 25 октября начали рассуждать совсем иначе, нет, совсем нет. Как ни раскладывая карты, от фактов никуда не деться – октябрь 1917 года призрачной и страшной стеной отгородил Россию от остального мира.

Начался долгий, невиданный и неслыханный, поистине фантастический эксперимент по созданию Нового человека.

Это ведь главное дело любого серьезного режима – вовремя создать Нового человека. Человека угодливого или запуганного, работающего или пьющего, агрессивного или смиренного, ленивого или динамичного, духовного или ограниченного, бессловесного или болтливоего, но именно такого, какой на данный момент нужен режиму для решения его насущных задач. Скажем, создать Кухарку, Умеющую Управлять Государством. Понятно, что к такому важному делу нельзя не подключать писателей, инженеров человеческих душ! Наша Антология должна была, наконец, прояснить важный вопрос – а какого именно Нового человека хотели создать неистовые большевики в нашей неистойой, на все способной стране?

Открывать Антологию должен был, конечно, Максим Горький, писатель мною любимый. Но не «Песней о Буревестнике», и не скучными итальянскими сказками, а одним малоизвестным рассказом, кстати, так и называющимся – «Рассказ об одном романе».

Героиня рассказа – женщина, из тех, что *«всю жизнь чего-то ждут, в девушках требовательно ждут, когда их полюбит мужчина, когда же он говорит им о любви, они слушают его очень серьезно, но не обнаруживая заметного волнения, и глаза их в такой час, как бы говорят: «Все это вполне естественно, а – дальше?»* Проводив гостей, героиня садится на террасе дачи и вдруг замечает, что кто-то не ушел: вон сидит мужчина на скамье под деревом, несколько нелепый в летнем белом костюме, ведь стоит осень, и достаточно странный: героиня вдруг замечает, что он не отбрасывает тени (прием, понятно, не новый). Наверное это писатель Фомин, решает героиня. Ходит к ней такой назойливый тип, все время лезет с идиотскими рассуждениями. Указанный писатель действительно неприятен героине, он постоянно на глазах и *«в то же время его как будто не было, а была толпа разнообразных мужчин, женщин, стариков и детей, крестьян и чиновников, все они говорили его голосом, противоречиво и смешно, глупо и страшно, скучно и до бесстыдства умно»*.

Но на скамье оказывается не писатель Фомин, а литературный герой, выдуманный и написанный им, некто Павел Волков – более или менее материализовавшийся в меру убедительности описаний. Воспринимая мир, как и следует воспринимать мир литературному персонажу, Павел Волков и героиню горьковского рассказа, живую, подвижную, думающую, принимает за литературный персонаж. *«Я думаю, – говорит он, – что с этого, – вот с этой встречи – и начинается роман. Должно быть, так и предназначено автором: сперва вы относитесь ко мне недоверчиво, даже неприязненно, а затем...»*

Правда, по-настоящему, это *затем* не случается.

Но героиня понимает всю тоску разговаривающего с ней персонажа.

«Мимо меня изредка проходят люди, они говорят о чем-то неинтересном, ненужном; какой-то рябой человек в чесучовой паре соблазнил толстенькую даму тем, что у него в парниках великолепно вызревают ананасные дыни и, между словами, кусал ей ухо, совершенно как лошадь, а она – взвизгивала тихонько. Страшно глупо все, надоело, бессмысленно! Сидишь и

думаешь: как невероятно скучны, глупы и расплывчаты реальные люди, и до какой степени мы, выдуманные, интереснее их! Мы всегда и все гораздо более концентрированы духовно, в нас больше поэзии, лирики, романтизма. И как подумаешь, что мы, в сущности, бытийствуем только для развлечения этих тупых, реальных людей...»

И добавляет: *«Вы ведь сами такая же».*

На что героиня возмущенно отвечает: *«Нет!»*

Как невероятно скучны, глупы и расплывчаты реальные люди.

Однажды покойный фантаст Дима Биленкин спросил меня: а кто, в сущности, реальнее – Робинзон Крузо, Гулливер, капитан Немо или твой реальный сосед по лестничной площадке?

Не слабый вопрос.

Герой Фомина-Горького – нечто нематериальное.

Нечто вроде флатландца, он и тени-то не отбрасывает.

В некоторых положениях он фактически вообще не виден, и все же реален, реален, он действительно реальнее соседа по площадке, о котором ты только и знаешь, что он в одно время с тобой выносит мусор к машине. Откуда-то издалека, из давних-давних лет доносился жалующийся голос: *«Разве не кажется вам, что жизнь была бы проще, удобнее, менее противоречива, если бы в ней не было всех этих Дон-Кихотов, Фаустов, Гамлетов, а?...»*

Рассказ очень горьковский.

«Где-то далеко поют девки и, как всегда, собаки лают на луну, очень благообразную и яркую, почти как солнце, лучи которого кто-то гладко причесал».

И отступления очень горьковские: *«Она села к столу, поправила отстегнувшийся чулок и долго сидела, играя ножницами для ногтей. Потом стала полировать ногти замшей, – лучшее всего думается, когда полируешь ногти. Очень жаль, что Иммануил Кант не знал этого».*

Действительно...

Размышляя, героиня рассказа приходи к выводу, что этот привязчивый Фомин в общем не так уж и глуп. Он некрасив, он неуклюж, но все же он самый интересный человек среди ее знакомых. И она пишет письмо Фомину, укоряя его в несовершенстве, в лени, в нежелании дописывать начатое. *«Он даже не особенно умен, этот Волков, – говорит она об одном из литературных персонажей писателя. – Он не удался Вам, и Вы должны как-то переделать, переписать его. Во всяком случае Вам необходимо сделать так, чтобы это существо не шлялось по земле каким-то полупризраком, – я не знаю чем! – и не компрометировало Вас. Подумайте: сегодня он у меня, завтра у другой женщины, – он ищет женщину, как Диоген искал человека...»*

«Лицо, измятое, как бумажный рубль» – Александр Грин.

«Улыбка, неопределенная, как теория относительности» – Александр Абрамов.

Право, не сравнимо с Н.Г. Чернышевским: *«Долго они щупали бока одному из себя»*, хотя уступает в простоте М.Е. Салтыкову-Щедрину – *«Летел рой мужиков»*.

Я уж не говорю о блистательной живописи Алексея Толстого: *«В Тамани мы остановились на берегу моря у казачки и здесь в первый раз купались в соленой воде среди живых медуз в виде зонтика с пыльным хвостом, плавающих посредством вздохов...»*

В какой-то чайхане мы задержались.

Хорошо бы Антологию снабдить портретами.

Мы пили зеленый чай, обливаясь горячим потом.

Многие знают в лицо Михаила Афанасьевича или Ивана Антоновича, кое-кто знает Владимира Афанасьевича или Александра Петровича, но многие ли могут представить себе лицо профессора Н.Н. Плавильщикова или писателя Льва Гумилевского?

Два цыгана зазывно орали под неумолчный ропот Алайского рынка.

«Что им история? Эпохи? Сполохи? Переполохи? Я видел тех самых бродяг с магическими глазами, каких увидит этот же город в 2021 году, когда наш потомок, одетый в каучук и искусственный шелк, выйдет из кабины воздушного электромотора на площадку алюминиевой воздушной улицы...» (Александр Грин).

Мы не представляли Антологию без портретов.

Как можно больше портретов. Чтобы люди увидели, наконец, расстрелянного Сергея Буданцева, счастливого Льва Никулина, столетнего Абрама Палея, интеллигентного Александра Беляева, героического авиатора Николая Шпанова, загадочную Наталью Бромлей. А, может, и Эффа. Таинственного Владимира Эффа, радиста с такого же таинственного корабля.

На Владимира Эффа меня вывел библиограф и собиратель старой и новой фантастики Георгий Кузнецов. Его квартира напоминает сундук с книгами. Вместо мебели книги, и спит он на книгах. У него можно отыскать любую книгу любого года. Давние, многими уже забытые издания Натальи Бромлей, Валерия Язвицкого, редкостные, давно не выходящие журналы с рассказами и повестями Владимира Орловского, Бориса Анибала, Андрея Зарина я получил от Георгия. И тяжелую годовую подшивку журнала «Радио всем» тоже принес он. «Вот писатель, – сказал Георгий, – от которого остался только роман. И ничего, кроме романа. Ни биографии, ни портрета, ни даже свидетельства о рождении».

Журнал «Радио всем» выходил в двадцатые годы.

Печатался в два цвета, помещал недурные иллюстрации.

А главное, кроме основной своей цели – подробно знакомить подписчиков с успехами радио у нас и за рубежом, «Радио всем» печатал фантастику. «*Элементы типа Лаланда*», «*Двухламповый усилитель с полным питанием от сети переменного тока*», «*Стабилизированный приемник с двумя каскадами усиления высокой частоты*», и тут же роман Владимира Эффа. «*Хроника радиорынка*», «*Рабочие Америки слушают радиопередачи из СССР*», «*В Смоленске убивают радиообщественность*», «*Как не следует преподносить радиообщественности ублюдочные идеи*», и опять продолжение фантастического романа. А программа радиопередач, печатавшаяся в журнале, без всякого преувеличения, как в зеркале, отражала жизнь страны.

Вот, скажем, что слушали советские радиослушатели в среду 18 апреля 1928 года:

Через станцию им. Коминтерна.

12.10 – Центральный рабочий полдень.

4.00 – Радиоопионер.

5.20 – Доклад: «Кружок военных знаний по радио».

5.45 – беседа: «Первомайские дни в кооперации».

6.17 – Рабочая радиогазета.

7.10 – Доклад т. Бухарина: «Алкоголизм и культурная революция».

В тот же день транслировалась опера «Богема», краткая медицинская лекция (по санитарии), урок немецкого языка и, разумеется, как всегда, «*по станции им. Коминтерна на волне 1450 м и по станции им. Попова на волне 675 м в 11.55 – бой часов с кремлевской башни*».

В 1928 году в журнале появился и радиофантастический (именно так определил его автор) роман Владимира Эффа «По ту сторону».

С таинственного взрыва на Божедомке начались невероятные, может, все еще длящиеся приключения героев загадочного романиста.

«В эпоху мирного строительства социализма такое приключение, как наше, даже занятно», – без всяких хитростей замечал один из героев, совершенно не подозревая того, как далеко, как поистине далеко может завести человека такое, казалось бы, невинное увлечение как радиолобительство. *«Тов. Бухарин определенно заявляет, что при развитии фабрично-заводского производства в капиталистическом государстве людоедство возможно лишь как эксплуатация труда».* Товарищу Бухарину тогда еще можно было верить. *«Громов (один из героев романа) когда-то знал английский язык. Конечно, он не мог бегло говорить по-английски, потому что, как он сам говорил, язык не поворачивался в глотке для идиотского произношения. Кроме того, английский язык был тем самым языком, на котором Чемберлен писал свой ультиматум, и это обстоятельство в значительной степени расхолаживало филологические порывы Ивана Александровича Громова, считавшего себя честным комсомольцем».*

Научно-фантастическая идея романа (хотя автор малость напутал с эффектами тяготения в летящей ракете и достаточно вольно истолковал некоторые положения теории относительности) не вызвала сомнений:

роман В. Эффа обязан был присутствовать в Антологии!

Очень гармонично рядом с героями Максима Горького появлялись ребята-комсомольцы – первая ненавязчивая модель будущего Нового человека!

В краткой заметке, предваряющей роман и, несомненно, выдуманной от начала до конца, говорилось, что Владимир Эфф – это радист с судна «Красное знамя», безвременно умерший от чохотки. Впрочем, ни Георгий Кузнецов, ни Игорь Халымбаджа, ни даже такой великий знаток советской фантастики, как Виталий Бугров, так и не докопались до настоящей биографии Владимира Эффа.

II

Прислушиваясь к шуму Алайского рынка, задыхаясь от волнения и горячего зеленого чая, мы называли имена, напрямую или косвенно связанные с развитием советской фантастики.

Максим Горький, Андрей Белый, Валерий Брюсов, Леонид Леонов, Алексей Толстой, Георгий Шторм, Андрей Платонов, Михаил Булгаков, Александр Чаянов, Сергей Буданцев, Владимир Маяковский, Виктор Шкловский, Евгений Замятин, Всеволод Иванов, Николай Асеев, Сергей Бобров, Александр Беляев, Сергей Беляев, Анатолий Луначарский, Мариэтта Шагинян, Вивиан Итин, Илья Эренбург, Ефим Зозуля, Михаил Розенфельд, Вениамин Каверин, Борис Лавренев, Валентин Катаев...

Несть им числа!

И кто-то будет утверждать, что фантастика – низкий жанр!

В нем очень недурно пробовали себя классики (А.Н. Толстой, М.А. Булгаков), крупнейшие ученые (геолог В.А. Обручев, этнограф В.Г. Богораз-Тан, энтомолог Н.Н. Плавильщиков), героические летчики (Георгий Байдуков и Михаил Водопьянов). Что уж говорить о Константине Эдуардовиче Циолковском (ему-то и карты в руки), сама Александра Михайловна Коллонтай, далеко не последний партийный деятель советского государства, опубликовала в 1920 году в журнале «Юный пролетарий Урала» фантастический рассказ под вызывающе авангардистским названием «Скоро». Ветераны Октябрьской и Мировой революций, встретившись через полвека, с удовольствием, но и с грустью, вспоминают дни революционных боев, принесших, наконец, счастье человечеству...

*Фантастика – это мир,
в котором нам хотелось бы жить,
в котором мы никогда жить не будем,
и в котором, как ни странно, мы живем постоянно...*

В маленькой чайхане под синим безумным азиатским небом мы вспомнили профессионалов – Александра и Сергея Беляевых, Григория Адамова, Александра Грина, Лазаря Лагина, Якова Окунева, Михаила Гирели, Виктора Гончарова, Александра Абрамова, Владимира Орловского, Валерия Язвицкого. Чтобы только их одних представить надо бы листов триста, помрачнел Гацунаев. Он-то знал реалии, все же член ЦК КПСС Узбекистана. Разве мы обязаны представлять всех? – возразил я. В Антологию должны войти произведения тех, кто действительно *оставил след* в фантастике. Одно дело, скажем, Александр Беляев или Алексей Толстой, и совсем другое – та же Александра Михайловна Коллонтай.

Нет, сказал Гацунаев. Так мы все запутаем.

Он был прав. Не знаю ни одного критика, который разобрался бы в том или ином явлении вовремя. Что, например, сообщала Литературная Энциклопедия, выходившая в 30-е годы в СССР, о писателях, чьи произведения уже тогда, без всякого сомнения, могли украсить любую Антологию?

О Михаиле Булгакове: «...*Не сумел ни оценить гибели старого, ни понять строительства нового. Его частые идейные переоценки не стали поэтому источником большого художественного творчества*».

О Сергее Буданцеве: «...*Вопрос о подчинении подсознательного организующей воле далеко не всегда решается писателем в классовом пролетарском духе*».

Об Евгении Замятине: «...*Творчество Замятина приобретает с развитием нашего социалистического строительства все более и более остро выраженную контрреволюционную направленность*».

Об Александре Грине (всегда одно и то же): «...Талантливый эпигон».

Об Андрее Платонове: «...Обнаружил ряд идеологических срывов в своих произведениях».

О Сергее Григорьеве: «...Не справляется с современными социальными заданиями».

Об Якове Окунове: «...Создал ряд идейно расплывчатых произведений на случайные темы».

Цитировать можно еще, и еще. Но зачем? Ведь само понятие *фантастика* в той же Литературной Энциклопедии толковалось весьма недвусмысленно: «Изображение неправдоподобных явлений, введение вымышленных образов, не совпадающих с действительностью, ясно ощущаемое нарушение художником естественных форм, причинных связей, закономерностей природы».

Неправдоподобных...

Не совпадающих...

Вымышленных...

И хотя в заключение статьи, написанной Б. Михайловским, говорилось, что все же «в рамках литературы социалистического реализма можно мыслить материалистическую фантастику, фантастику как художественную форму с реалистическим содержанием», на деле вся советская критика встречала появление фантастических произведений, как правило, враждебно. Ведь речь, черт возьми, шла о создании Нового человека. Тут нельзя было промахнуться, тут все следовало держать под контролем. Да Ольга Форш, писатель далеко не бесталанный и человечный, в романе «Сумасшедший корабль» так рассказывала о поэте, задумавшемся о будущем. «В грядущих колхозах он предполагал внедрить поэтхозы, где творческий дар – величина вот-вот математически на учете – приспособлена будет для движения тракторов, причем творцам предоставлена будет наивысшая радость петь, как «певец» Шиллера, только о чем запоется и только потому, что им невозможно не петь. Выгода отсюда будет двойная: для индустрии сила отойдет максимально, а так как благодаря счетчику-облицителю эту творческую силу подделать уже нельзя, то само собой будут выбиты из позиций и «псевдописатель» и «кум-критик». Один настоящий творец, он же двигатель трактора, взят будет на полное хозснабжение. Те же писатели, от работы которых не воспоследствует передача сил и трактора от их словес не пойдут, как профессионально себя не нашедшие, кооптированы будут в отдел ассенизации города».

– Что такое непорзач?

– Непорочное зачатие.

– Звучит тревожно.

– А вы чего хотели? Это не костяшками домино греметь.

Деятели партии тоже внимательно приглядывались к творцам.

Были у них обиды. Обиды на писателей. Обиды на фантазии последних.

Анастас Иванович Микоян, например, на XVI съезде ВКП(б) страшно обижался: «Ведь это позорный факт, что под покровом Коммунистической академии могла выйти книжка о колхозном движении, в которой говорится о колхозах при аракчеевщине, Иване Грозном и т. д.» Говорил Анастас Иванович о популяризаторской книжке, написанной неким Бровкиным, певцом, несомненно, увлеченным.

Лазарь Моисеевич Каганович обижался по другому поводу.

«В «Правде» – обижался он, – была помещена рецензия о семи книгах философа-мракобеса Лосева. Но последняя книга этого реакционера и черносотенца под названием «Диалектика мифа», разрешенная к печатанию Главлитом, является самой откровенной пропагандой наглейшего нашего классового врага. Приведу лишь несколько небольших цитат из этого контрреволюционного и мракобесовского произведения: «Католичество, которое хотело

спасти живой и реальный мир, имело полное логическое право сжечь Джордано Бруно...», «Сжигать людей на кострах красивее, чем расстреливать, так же как готика красивее и конкретнее новейших казарм, колокольный звон – автомобильных воплей, а платонизм – материализма...», «Коммунистам нельзя любить искусство. Раз искусство, значит – гений. Раз гений, значит – неравенство. Раз неравенство, значит – эксплуатация...», «Иной раз вы с пафосом долбите: „социализм возможен в одной стране“, не чувствуете ли вы в это время, что кто-то или что-то на очень высокой ноте пищит у вас на душе: не-ет!» И это выпускается в Советской стране. О чем это говорит? Это говорит о том, что у нас все еще недостаточно бдительности. Это выпущено самим автором, но ведь вопрос заключается в том, что у нас, в Советской стране, в стране пролетарской диктатуры, на частном авторе должна быть узда пролетарской диктатуры».

Какое огромное значение придавалось созданию Нового человека видно по Постановлению ЦК ВКП(б) и СНК СОЮЗА ССР от 26 января 1936 года: «Для просмотра и улучшения, а в необходимых случаях и для переделки написанных уже учебников по истории, организовать комиссию в составе тт. Жданова (председатель), Радека, Сванидзе, Горина, Лукина, Яковлева, Быстрянского, Затонского, Файзуллы Ходжаева, Баумана, Бубнова и Бухарина. Комиссии предоставить право организовать группы для просмотра отдельных учебников, а также объявлять конкурс на учебники взамен тех, которые будут признаны подлежащими коренной переделке. В первую очередь должны быть просмотрены учебники по элементарному курсу истории СССР и по новой истории».

Подписали В. Молотов и И. Сталин.

А на известном, ну, прямо-таки фантастическом XVI съезде партии гневно жаловался на мало что понимающую, все путающую глупую прессу добрейший Семен Михайлович Буденный:

«Многу было отмечено, что коневое хозяйство помимо того, что лошадь имеет значение как тягловая сила и как фактор в обороне страны, имеет еще и товарную продукцию. Многу было указано, что лошадь дает мясо, кожу, волос, копыта («рог»). кость. А наша печать... Что они написали после того, как я выступил?... Оказывается, Буденный заявил, что лошадь дает мясо, кожу, щетину и даже... рога!»

Вот создай Нового человека с такими работниками!

Вообще-то литература всегда говорила и говорит о некоем Новом человеке.

Она как бы предчувствует его появление. Ведь только Новый человек может заставить вулканы Камчатки обогревать Сибирь; регулировать направление постоянных ветров гигантскими вентиляторами; вести стремительные электроходы в подземных туннелях; заменять медлительную почту «электрическими разговорами»; выращивать невиданные деревья, такие, скажем, как «финики, привитые к вишневому дереву, или бананы, соединенные с грушей». Заметьте, что о финиках и бананах писалось В. Одоевский еще в 1840 году («Петербургские письма»), кстати, в том самом году, когда российский министр финансов доказывал, что железная дорога из Петербурга в Москву не нужна, даже опасна, ибо усилит у простых людей ненужную склонность бесцельно переезжать с места на место.

А алюминиевые сны Веры Павловной?

Какой протопоп, даже самый неистовый, мог о таком мечтать?

Удивительно читать в Литературной Энциклопедии о том, что «М. Булгаков вошел в литературу с сознанием гибели своего класса и необходимости приспособления к новой жизни. Принял победу народа не с радостью, а с великой болью покорности».

А как, собственно, он должен был входить в литературу? Разве Михаила Булгакова, человека мягкого и интеллигентного, не должна была ужаснуть буря гражданской войны? Уж он-

то видел на деле последствия известных слов Г. Плеханова: *«Русская история еще не смолола той муки, из которой будет со временем испечен пиеничный каравай социализма»*.

Впрочем, в цитировавшейся статье Б. Михайловского «Фантастика» (Литературная Энциклопедия, 1939) заключительный абзац звучал оптимистически: *«В рамках литературы социалистического реализма можно мыслить материалистическую фантастику, фантастику как художественную форму с реалистическим содержанием, – в жанре сатиры, направленной против отживающего капиталистического мира, в произведениях, пытающихся гипотетически предвосхитить будущее, в советском фольклоре и особенно в литературе для детей»*.

В жанре сатиры...

Странно...

В том же самом году в «Литературной газете» критик В. Блюм прямо указывал: *«Всякий сатирик в СССР посягает на советский строй.»*

Ни больше, ни меньше.

Представляю себе выражение на лице В. Блюма, вчитывающегося в монолог профессора Преображенского (М. Булгаков, «Собачье сердце»): *«Голубчик! Я не говорю уже о паровом отоплении. Не говорю. Пусть: раз социальная революция – не нужно топить. Но я спрашиваю: почему, когда началась вся эта история, все стали ходить в грязных калошах и валенках по мраморной лестнице? Почему калоши нужно до сих пор запирать под замок? И еще приставлять к ним солдата, чтобы кто-либо их не стащил? Почему убрали ковер с парадной лестницы? Разве Карл Маркс запрещает держать на лестнице ковры? Разве где-нибудь у Карла Маркса сказано, что 2-й подъезд Калабуховского дома на Пречистенке следует забить досками и ходить кругом через черный двор?»*

«Всякий сатирик в СССР посягает на советский строй.»

Чайхана под платанами.

Брожение умов.

1985-й год.

Жара.

«Смоленск горит весь...»

Разумеется, эти строки М. Булгакова должны были войти в Антологию.

«Артиллерия обстреливает можайский лес по квадратам, громя залежи крокодиловых яиц, разложенных во всех сырых оврагах... Эскадрилья аэропланов под Вязьмою действовала весьма удачно, залив газом почти весь уезд, но жертвы человеческие в этих пространствах неисчислимы из-за того, что население, вместо того чтобы покидать уезды в порядке правильной эвакуации, благодаря панике металось разрозненными группами... Отдельная кавказская кавалерийская дивизия в можайском направлении блистательно выиграла бой со страусовыми стаями, перерубив их всех и уничтожив гигантские кладки страусовых яиц... Сообщалось от правительства, что в случае, если гадов не удастся задержать в 200-верстной зоне от столицы, она будет эвакуирована в полном порядке...»

Чайхана под платанами.

Неумолчный шум Алайского рынка.

Ну да, Михаил Булгаков... А Александр Чаянов?

Как будет выглядеть Антология без Александра Васильевича Чаянова?

Как понять развитие советской фантастики без его утонченных повестей?

Жена замечательного писателя и крупного ученого, погибшего в сталинских лагерях (вот еще одна весьма эффективная лаборатория по созданию Нового человека), вспоминала: *«Его забрали 21 июля 1930 года на работе в тот момент, когда он готовил материал Зернотреста к XV Партсъезду. О том, что происходило в тюрьме я могу рассказать только с его слов. Ему было предъявлено обвинение в принадлежности к «трудовой крестьянской партии», о которой он не имел ни малейшего понятия. Так он и говорил, пока за допросы не принялся Агранов. Допросы вначале были очень мягкие, «дружественные», иезуитские. Агранов принес книги из своей библиотеки, потом просил меня передать ему книги из дома, говоря мне, что Чаянов не может жить без книг, разрешил продовольственные передачи и свидания, а потом, когда я уходила, он, пользуясь духовным потрясением Чаянова, тут же устраивал ему очередной допрос. Принимая «расположение» Агранова к нему за чистую монету, Чаянов дружески объяснял ему, что ни к какой партии он не принадлежал, никаких контрреволюционных действий не предпринимал. Тогда Агранов начал ему показывать одно за другим тринадцать показаний его товарищей против него... Эти показания повергли Чаянова в полное отчаяние – ведь на него клеветали люди, которых он знал близко и много лет... Но все же он сопротивлялся. Тогда Агранов его спросил: «Александр Васильевич, есть ли у вас кто-нибудь из товарищей, который, по вашему мнению, не способен солгать?» Чаянов ответил, что есть и указал на профессора экономической географии А.А. Рыбникова. Тогда Агранов вынул из ящика стола показания Рыбникова и дал прочитать Чаянову...»*

Все советские Антологии следует снабжать подобными комментариями.

В 30-е годы, когда власть, наконец, утвердилась, процесс создания Нового человека пошел самым полным ходом. Стали фантастически переплетаться, смешиваться судьбы авторов и их героев. Сейчас можно лишь представить, с каким странным, наверное, чувством вчитывался Михаил Булгаков в страницы повести А.В. Чаянова «Венедиктов, или Достопамятные события жизни моей» (в подзаголовке: «Романтическая повесть, написанная ботаником Х., иллюстрированная фитопатологом У.»

«Как я могу отблагодарить тебя, Булгаков! – сказал Петр Петрович, протягивая мне бокал. – Сам Гавриил не мог бы принести мне вести более радостной, чем ты! Эх! если бы ты мог что-нибудь понимать, Булгаков!»

И далее: *«...все более хмелея, повторял ежеминутно: «Эх, если бы ты что-нибудь понимал, Булгаков!»*

И далее: *«...Я – царь! А ты червь предо мною, Булгаков! Плачь, говорю тебе!»*

И еще далее: *«Смейся, рабская душа!»*

И, наконец, уже совсем пронизанное тоской: *«Беспредельна власть моя, Булгаков, и беспредельна тоска моя; чем больше власти, тем больше тоски».*

Именно «Венедиктов» должен был украсить Антологию, а вовсе не фантастическое «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии».

Эх, если бы ты что-нибудь понимал, Булгаков!

«Не могу же я пойти к самому Ленину и спрашивать: дорогой товарищ, объясните мне все окончательно, – писала в рассказе «Мои преступления» нежнейшая, изысканнейшая, загадочная, нецененная Наталья Бромлей. – А кому я могу довериться, будучи плохого происхождения и с малых лет не доверяя людям? Я нахожу, что большинство людей ниже этих событий, и остаюсь в стороне и занимаюсь строительством в тесном масштабе».

Или повесть «Потомок Гаргантюа».

В некую страну, в которой только вот только что произошло восстание, приходит кентавр по имени Либлинг Тейфельспферд. Железнодорожные сторожки, мосты, вагоны, баржи с бойницами, зубные щетки и телефоны – знакомый читателям, и в то же время совершенно невероятный мир, до предела заполненный страстями. Читая повесть Натальи Бромлей, невольно вспоминаешь рассуждения горьковской героини: *«Сидишь и думаешь: как невероятно скупы, глупы и расплывчаты реальные люди и до какой степени мы, выдуманные, интереснее их...»*

Поэзией, лирикой, горечью полны повести и рассказы Натальи Бромлей.

«Он кричал так, что над скулами его образовались провалы, рот разодрался, щеки нависли тряпичными складками, а глаза погасли. Таковы были во все времена лица наемных крикунов и добровольных глашатаев лжи...»

От героев Натальи Бромлей падает густая тень.

Они не флатландцы. Они во плоти, они слышат и видят.

Они орут, они вторгаются в ломающий их души мир. *«Так кто же здесь хотел свободы и когда?»* – спрашивает, например, кентавр Либлинг, потрясенный человеческим предательством. И его жестокая возлюбленная спокойно отвечает: *«Никто и никогда. Хотели хлеба и покоя. Все обман».*

Бездонное небо.

Птицы и самолеты.

Полуденный сожженный Ташкент.

Не сто, а двести листов. Для настоящей Антологии и триста мало.

Но если уж и пятидесяти не найдется, то повести и рассказы Натальи Бромлей все равно войдут в Антологию вне всякой конкуренции.

Заслуженная артистка РСФСР, она играла во МХАТе, в Ленинградском театре драмы им. Пушкина, в конце 40-х была режиссером театра им. Ленсовета, но в памяти осталась двумя блистательными книгами – *«Исповедь неразумных»* и *«Потомок Гаргантюа»*, вышедших в 1927 и в 1930 годах соответственно в Москве в издательствах «Круг» и «Федерация».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.